

Похоже, мы и правда живём в постисторическом пространстве, где время теряет рассудок. То, что было вчера, представляется древней историей, а вроде навсегда отболевшие заблуждения столетий искушают, как завтрашняя политическая программа. От усталости последних лет мы готовы обмануть себя и сделать вид, что никакого вчера не было, чтобы скорее оказаться в сколько-то защищённом завтра. Очевидно, мы надеемся, что, отказавшись от себя, мы скорее обманем судьбу, и болезнь покинет нас.

А только, слава Богу, русские поэты ещё не оставили своего свидетельского служения, и их «показания» по-прежнему «не горят». Они ждут зрелости читательского сердца, чтобы пробудить его для настоящего осмысления и догадки, что недодуманная мысль, как недоисповеданный грех, не освобождает души. И что история, как Христов хитон, не шита из кусков, а целиком ткана сверху. И её надо видеть открытыми глазами, чтобы яснее почувствовать в своём сердце незатянувшиеся разрывы в живом теле Родины и церкви.

«Друг мой, – восклицал Гоголь, – или у вас бесчувственное сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия!» Это их общее, как если бы их сердце было открыто самым физическим образом, без защиты плоти, и Россия, может быть, иногда и сама не рада этим зорким детям, которые, не опуская глаз, спрашивают с неё последней правды, но она знает, что это – вопрошание любви и что это оправдание её перед Богом. А надеющиеся загородиться успокоительной ложью в очередной раз вынуждены будут понять, что поэт – свидетель неподкупный, и никакая неправда не утаится. До Божьего суда, как его первый знак и предвестие, приходит напоминание поэта «Но есть, есть Божий суд...»

Таким напоминанием кажется мне попавшая нынче на глаза нестареющая книга* ушедшей пятнадцать лет назад московской поэтессы Татьяны Глушковой, книга, рождённая в первых своих горчайших стихах в мучительные дни после страшного, трусливо не обдуманного нами октября 1993 года. Тут о «текстах» не поговоришь, потому что каждое стихотворение, да и каждая даже строка – вопрос не к одному умозрению, а к самому существу жизни. Немного у поэта средств в жестокое время – «всего-то под рукой лишь боль – да гармонические звуки», но эта безоружность отливается в крылатое слово, которое растёт в душе и становится единственно действительной силой.

Как мы жадно постарались забыть тот октябрь! Даже не избыли, а просто вычеркнули из памяти, как нечто не бывшее, но русская Муза «с горьким взором, с завязанным ртом» безжалостно возвращает нас в эти дни без «эфирной цикуты» телевизионной лжи, не в хаотическом метании обрывочных полуправд, а в преображённом страданием слове. Теперь уже не загородиться заботами и

* Татьяна Глушкова. Гражданская лирика. Издательство «Русский остров». Санкт-Петербург: «Владимир Даль». 2004.

неразберихой дня, теперь надо глядеть и понимать. Это не старая хроника, а большое сегодняшнее сердцебиение:

Ещё встает за окнами рассвет,
Ещё струится осень золотая.
Но нет Москвы. А есть – воронья стая
Над стогнами страны, которой нет...

Этот мотив неустанен – страна, «которой нет». «Когда не стало Родины моей...». «Но был весь мир провинцией России, теперь она – провинция его». Это очевидно слепому и, может быть, очевиднее всего тем, кто каждый день твердит нам о возрождении России – той страны нет. Нет нашей Родины, которую не надо было одевать в слова и которой не надо было клясться, ибо она была кровью, домом, гордостью, семьёй и матерью, о которой не думаешь, пока их не лишишься. Нет того, что мы за стремительностью разрушений почти не успели осознать, что при всех потехах, горестных заблуждениях и стыдных вывихах идеи занималось в мире, а занималось нечто небывалое, нечто, сулящее миру смысл больший, чем восторжествовавшее, к нашему стыду, брюхо и отдых на Канарах.

И вот поэт переглядывает хронику памяти («в тот день осенний: сладковатый чад/ клубился ввысь... Какой листвы сожженье?», «В тот час, как танки въехали в Москву, /хлеб зачерствел, и горькою водица/ вдруг сделалась...») и спрашивает, спрашивает ответа:

Зачем молчали вы, колокола?
Зачем весь причт не вышел крестным ходом...

А ответа нет и сегодня. Подняли бы колокола Москву? Наверное. Да не знали звонари, куда звать, какой народ поднимать, не ведали, с какой стороны они сами, как не ведал причт, кого звать в хоругвеносцы и кого ставить под небесные знамена, и в какую сторону идти. Подлинно – «распалась связь времен», и мы тогда не успели понять, что из народа стали населением, что не на кого было оглянуться отдельному человеку, ибо не было за ним рода – ни крестьянского, ни дворянского. Пока мир держался, казалось, всё внутри нерушимо, а повалился – и обнажилась наша духовная ослабленность. И церковь, пригрозив анафемой пролившему кровь, не нашла в себе силы договорить начатое до точки, вполне в духе времени «позабыв» вчерашние заявления. И на сороковой день опять фактически не церковь, а поэт сулил погибшим юношам, что «души их во благих водворятся», а поняли бы мы под церковным взглядом, что это наш общий день поминовения России, собрались бы, не судя, а плача, и опять были бы народ. И не было бы «мощи, чтобы одолеть/ ту крепь – коль встанут мёртвые с живыми/, единого Отечества во имя готовые вторично умереть».

Но нет этого «единого Отечества». И живые предают своих мертвецов (не только этих октябрьских, но и тех, кто под Бородино, Севастополем, Сталинградом) нетерпеливым переписыванием истории, подменой героев (Сталин равняется Гитлеру, Власов – гуманнее Жукова и т.д.). Но история не описывается, а *делается*, и её можно оболгать, но не отменить, можно предать, но нельзя сделать не бывшей. Каждое 9 мая проверяет нас, и мы всё хуже выдерживаем испытание. Глушкова особенно остро слышала этот день и думала о нём иногда задолго до этой святой даты. Вот и в ноябре 93-го года, когда ещё не остыл позор октября, торопит 9 мая 1994 года, словно надеется образумить и собрать человеческое сердце, заставить в свете того первого великого дня очнуться и понять, как вышло, что вот спустя полстолетия:

Ни очага. Ни хлеба. Ни державы.
Всё взято. Сдуто. Угнано в полон.

А уж 9 мая 1995 года и не надеется образумить, а ещё в предчувствии, не видя того, что будет, по одному безумию оглашенной программы понимает, что можно только отворотиться, чтобы спасти если не сердце, то хоть зрение:

Парад Позора! Не моим глазам
Глядеть, не моему склоняться слуху,
Внимая, как Великую Разруху
Кимвалы славят и пируют срам.

Эхо нового «октября» уже пошло вершить необратимую работу в народном сознании, и не за что ухватиться, нечем себя ободрить в минуту крайней усталости. Разве иногда почудится «...случайный / былой уездный городок/ ещё наполнен русской тайной/ ещё хранит свечи венчальной –/ на брак и царствие – дымок». Но только уж мы и сами знаем, что и про «уездный городок» – только чудится. Он или стыдится своей уездности, или продает её. Увы, как и в столицах, там тоже «в душах властвует число». В Угличе рядом с Кремлём я увидел в те дни церковь Флора и Лавра, бросился поглядеть, а она и не церковь вовсе, а магазин заморского барахла с удалым названием «У Флора и Лавра».

Подлинно:

А мы живём теперь чужие жизни.
В чужую жизнь вплетаем жизнь свою
Ненужную, как память об Отчизне
В чужом, немиллом, сумрачном краю.
И пролегло такое расстоянье
От этих дней и до былых времен,
Как будто мы, и подлинно, в изгнание
Иль видим сон: кромешный видим сон...

И гордость наша ещё восстаёт и нет-нет вырвется старое властное слово и повеет прежней статью и достоинством:

Мы сами на семи холмах стоим,
Не нам у Рима спрашивать дорогу.

Но как увидишь вот такое «У Флора и Лавра», или то, как Пушкин в Москве на своей площади всё ниже клонит голову, чтобы не видеть победно обставших его на всех кровлях «Samsung», «Daewoo», «Coca-Cola» («Лютуют чада праха над тобой, / Глумятся, мол, и ты подобен праху»), то и почувствуешь, как нетвёрдо мы стоим на своих холмах, а Рим не без высокомерия или, что ещё больше, – не без снисхождения – напоминает нам, что, коли уж мы выбираем европейские модели экономики и политики, то и церкви нашей придётся заглянуть в чужую историю и догматику. Она хоть институт-то и небесный, но стоит на земле и везде на *своей* земле, и когда её общество, её дети эмигрируют и предательствуют, ей не остаться здоровой и от «римской дороги» не уклониться. Мы об этой болезненной связи стараемся не думать, не видя, что это самообман по последствиям губительней других, не видя, что без Родины «и слава, и любовь/ сама душа – как храмина пустая».

Так у нас связаны Родина и душа, Россия и церковь, что у нас и Христос по народному сознанию русский, отчего мы его всегда роднее других чуяли и любили именно не в царском, а рабском виде. Вот почему Глушкова права, когда пишет в начале книги: «Когда не стало Родины моей,/ Тот, Кто явился к нам из Назарета,/ осиротел не менее поэта...», ибо был изгнан из того дома, где был живее всего, и нынешний, на компромиссе и уклончивости ставленный дом не хочет делаться «домом молитвы», как мы не надеемся убедить себя в обратном.

А только и «победителям» тут радоваться нечему – в таких «поражениях» выигравшего не бывает.

Не радуйтесь: мол, русская расплата...
Всемирное в ней тлеет торжество.

Ну, до торжества ещё далеко, а вот до общей кончины этого слепого, подталкивающего Россию в пропасть мира очень даже близко. Себя, бедняги, в пропасть-то толкают, не ведая законов сохранения духовной энергии, не понимая, что уж давно не только нашей литературой, а и нашей церковью живут, что умный Рим по русской религиозной мысли понял и старается усвоить. И как Россия надеется выбраться за счёт провинции, так и миру придётся надеяться на свою провинцию – Россию. И тут как раз формула Глушковой не обидна, если бы миру хватило ума понять её. А от России, от гордости её из-за того что она «деревня», не убудет.

То-то и беда, что как деревня сегодня бежит от себя, так и вся Россия застыдилась своей «провинциальности», не разумея того, что всякий не потерявший рассудка народ, побегав за своими рево-

люциями и «перестройками», в конце концов возвращается к осмеянному «не передовому» отчету порогу, около которого и воскресает.

Но – вот вечное чудо: как только на минуту оставишь заботы дня и дашь волю усталому сердцу, оно тотчас начинает искать света, преобразовать пережитое и бережно подвигать душу к выходу. Это небесная Россия, та, что, собственно, и зовётся Родиной, подставляет плечо и «думает за тебя». Вдруг начинает сознаваться, что «Россия, кровью умытая», оказывается на какой-то непостижимой глубине – «отмытая», «убелённая» этой кровью, вымоленная, наверное, теми небесными юношами, которые пали тогда. И всё кажется, что сама поэтесса удивлена этим проступанием света «уму наперерез»:

«Невозвратимо!» – говорит мне ум.

«Невосполнимо!» – мне стрекочут сводки.

...Но вздох глубок, но воздух – золотист,
и клоч отавы блещет жемчугами.

...То сам Господь, как сеятель идёт.
Из недр золы, щебёнки, перегноя
Лучистым взором семя достаёт –
Незримое, родимое, ржаное...

Оттого и – «смерть поправ», оттого и пасхальное проступание. Ещё на дворе Страстная неделя, еще всё болит при каждом прикосновении, ещё не сдаётся ум и не слабеет гнев, но всё что-то будто трогается в воздухе, как перед рассветом. Но это не заслуга нынешних миродержцев (что им до России?), это именно народный слух поэта говорит, земная и небесная его стихия, как знак верной жизни в языке и истории. Как это у Блока вырвалось после видения нищеты и отчаяния тем же народным слухом: «Ну что ж? Одной заботой боле –/ Одной слезой река шумней, А ты всё та же – лес да поле/, Да плат узорный до бровей»... Вот и здесь к смятению поэтессы:

...Из таких потёмок –
А песнь?... И вроде из славянских слов
Составлена, содеяна... Сокрыта,
Самой землёю сбережена.
Так значит, эта раса не убита,
И даром, что нещадно казнена?

Именно, именно – «самой землёй»! И потому и «раса не убита», что есть ещё у нас наша земля и право и честь лечь в неё и быть ею. Оттого и это неуклонное движение книги к слову «Победа» и твёрдое знание, что «срам поражений, мороки измен/ смахнёт плащом сверкающий Георгий,/ прогонит прочь от этих красных стен». И, коли уж надежда выступает из такой раны и такого страдания, – значит, подлинно свет во тьме светит и видится мужественным зрением, а не уловкой очередного самообмана.

Это уж проникание *туда*, за пророчимую поэтом и ещё предстоящую кровь, за последнее противостояние злу, в те пределы, где начертана наша подлинная судьба, как суд Божий, от которого не уклонишься и которого чужими дорогами не обойдёшь. «Не во власти человека, – так же выстраданно писал некогда И.А. Ильин, – оторваться душою от той среды, которая его возрастила, погасить свой национально-духовный облик и, раз надышавшись родного воздуха, сделать себя действительно лишённым духа и Родины».

Вот и она ни на минуту не может представить себя без родного воздуха, и потому так пряма в отношении прекрасной, но только элегической, безопасно усталой поэзии первой волны эмиграции и так жёстка в отношении второй («они бежали не из плена, а в плен во время той войны»). И потому резка с «неохристианами» и «мстителями», которых явился легион и кто плюёт в Отчизну, «расчитываясь» с нею за своих родителей, дедов, за их частную правду, потому что сама она, претерпев семейный урон более других, слышала стократ вернейшее:

Не для тщедушных этот путь,
Не для жрецов стерильной славы.
Не на воде стоят державы,
Лишь на крови они растут.

Не зря она – славянка, рождённая в Киеве, жизнь прожившая в Москве, слышавшая равно Украину, Россию, Сербию, – не выносила комнатного патриотизма, ищущего безопасной правды, ибо всегда знала, что

Величье духа требует пространства,
Так повелел не Пётр – Небесный Царь,

и носила в груди до парадокса доходящее знание, что даже и тяжкий труд демидовских рабочих, и тьмы крепостных таинственным образом необходимы в свой час, чтобы выковать пушкинские «Египетские ночи» или строку о «гении чистой красоты». Это могло показаться дерзостью, жестокой игрой. Но она никогда не играла. Она – *знала*.

Книга, начавшись с грозной, почти страшной ноты, с плача по расстрелянным в Белом Доме, с тягчайшего реквиема по русской славе, к концу если не светлеет, то выравнивается, как близится к успению человек, как страна, выбаливая, начинает на самой пока едва различимой глубине возвращать слух и понимать, что «от *Слова, Слова* прорастёт народ». Прежде всего из такого нелюбезного врачующего слова, из пушкинской непредвзятости мысли и леонтьевского пафоса жизнеохранения.

Грозная, властная, скорбная, светлая книга Татьяны Глушковой из спасительных «глотков родного воздуха», которым живёт и крепится духовный облик русского человека. Давно русская Муза не говорила так властно, так по-русски грозно, во времена, когда дух и лучших политиков и военных отставал от поэзии. Давно она не была так мужественна, прекрасна, нетерпелива, неуклончива, бесстрашна, потому что искала не слова даже, а того, что за словом – великого Целого, где едины полки, стоявшие на Чудском и под Бородиным, и под Сталинградом, где бестужевки, поповны, московские просвирни и мещане – всё хранило речь, которая прорастёт и выведет из гибели.

Её историзм был отличен от других русских поэтов последнего времени. Она предчувствовала скорую утрату гражданской лирики в России и была настойчива, постоянна, требовательна к истории, в которой жила всякий день и час уже больным, но тем горячее любящим, живым, не литературным сердцем. Она была нелюбезна, резка. Часто невыносима. Как невыносима сегодняшнему уклончивому сознанию честность. Её «скорбный дух» был «не сломлен и не смирен» до последнего часа.

Слава Богу, Россия не осталась без трагического эпоса в час, когда закатывалась, когда превращалась в «провинцию мира». Есть трагическое свидетельство и уже навеки неуничтожимое свидетельство, что мы были. И ушли не молча.